НИКОЛАЙ БЫЛОВ

А. С. ПУШКИН
как основа контр-революции

БУЭНОС АЙРЕС
1 9 5 3

НИКОЛАЙ БЫЛОВ

А. С. Пушкин, как основа контр-революции

Буэнос Айрес

1 9 5 3

**
*

NICOLAS BYLOFF

A. S. PUSHKIN como base contrrevolucionaria

Buenos Aires

1 9 5 3

НИКОЛАЙ БЫЛОВ

А. С. ПУШКИН
как основа контр-революции

БУЭНОС АЙРЕС
1953

I. ПУШКИН И ЦЕРКОВНОСТЬ

"Сказка о попе и работнике его Балде" начинается так: "Жил был поп — толоконный лоб". Балда требует за свою службу права щелкнуть попа три раза по лбу. Призадумался поп... да понадеялся на русское авось. Поп говорит Балде "ладно". Потом, когда срок расплаты пришел, поп приуныл. Но тут попадья: "ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив". Советы попадьи приводят попа в восторг. Он говорит Балде: "собери-ка с чертей оброк мне полностью.. .есть на них недоимка за три года". Балда, к всеобщему изумлению, эти недоимки собирает и "бедный поп подставляет лоб, с первого щелчка подскочил до потолка" и т .д., и т. д. "А Балда приговаривал с укоризной: не гонялся бы ты поп за дешевизной". Сказка написана в 1831 году, то-есть, Пушкин тут не очень-то "ранний".

Подход к "попу" здесь сугубо дворянский: некое клоунообразное существо, предназначенное для застольных анекдотов. Правда, в итоге соответствующих барских воздействий (священников били батогами, заставляли венчать себя с 10-летними девочками, заставляли крестить борзых щенков и т. п.), служители Церкви, по законам, так сказать, обратного естественного подбора, частенько являли собой это анекдотическое существо. В эпоху крепостничества тип священника по призванию, стойкого борца за моральные нормы, был почти невозможен в русской провинции. Такого батюшку кто-нибудь из соседских помещиков просто забил бы "ду-

бьем и кольем“ (см. ”Историю“ Соловьева, наиболее беспристрастного, прагматического нашего историка, — книга 5, стр. 616 и многие другие дальше).

Перейдем к другим произведениям Пушкина. В ”Капитанской дочке“ находим отца Герасима. Он ”бледный и дрожащий, стоял у крыльца с крестом в руках и казалось молча умолял его (т. е. Пугачева) за предстоящие жертвы“. Но отец Герасим все таки приводит взятых в плен к присяге Пугачеву и не идет на виселицу, как капитан Миронов и его верный помощник Иван Игнатьевич. Пушкин твердо держится гусарского взгляда (гусаром он и мечтал быть в молодости), что батюшки, это — ”очень второй сорт“.

Затем, в ”Повестях Белкина“, находим описание церкви Троекурова. ”Обедня не начиналась: ждали Кирилу Петровича. Он приехал в коляске шестернею и торжественно пошел на свое место“... Потом ”с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон упомянул и о зиждителях храма сего“... ”Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и, стояли на паперти и в ограде“... В перечислении присутствовавших потом на пиру у Троекурова, батюшки мы, конечно, не находим. Что по поводу всего этого можно сказать, кроме того, что знаменитый цепной медеведь Троекурова был у него гораздо более на переднем плане, чем церковь.

***

Никакой писатель не отделим от эпохи, как бы он над ней ни поднимался. Личное неблагосклонное отношение Пушкина к Троекурову легко угадывается, но Троекуров определял собой деревенскую церковь, а в ней-то Пушкин и видел несчастное существо в рясе, не смевшее начать службу без ”зиждителя“.

Кстати, говоря о ”Повестях Белкина“, полезно отметить, что натяжки в фабулах там такие, которые годны разве для авантюрного романа. В ”Барышне-крестьянке“ перед нами даже настоящий водевиль с переоде-

ваниями. Если бы в наше время какой-нибудь писатель рискнул построить рассказ на подобной фабуле, то погубил бы свою карьеру сразу же. Не лучше дело обстоит и с "Метелью",—это совершеннейший абсурд. Никак не убеждают в своем реальном бытии и некоторые центральные фигуры, как например Сильвио, — нечто вроде русского графа Монте-Кристо. К Герману, Минскому, Дубровскому можно придраться самым жесточайшим образом. Наиболее, с точки зрения художественной цельности, выдержана "Капитанская дочка", хотя и тут конец, — встреча Марьи Ивановны с Императрицей Екатериной, — чисто оперный.

Покорнейшая просьба правильно понять эти суждения. Пушкин, конечно, — "солнце русской поэзии". Но падать перед ним ниц вслепую, — не значит ценить его. Свои картины русского быта и обрисовки действующих лиц поэт частенько располагает вокруг центров весьма условных. Про Евгения Онегина мы еще на школьных скамьях учили, что Пушкин разочаровался в своем герое и не знал, как кончить роман. На всякий случай отправил Евгения путешествовать. Но Евгений, спрыснутый байроновской мертвой водой, с его крайне надуманными поступками и мыслями, позволяет другим людям наиболее быстро и полно явить свою жизнь. Конечно, чтобы проделывать такие операции, т. е. на условных фабулах и неживых центральных фигурах, давать все таки сверкающий реализм, надо быть гением. Пушкин им и был.

"Евгений Онегин", бесспорно, один из лучших русских романов. Его можно было бы озаглавить менее поэтично, но более точно: "Русская усадьба" или даже "Усадьба и столица". Что мы находим там в смысле церковной стихии?

Про старшее поколение Лариных Пушкин отмечает: "Два раза в год они говели; любили круглые качели". Еще: "В день Троицын, когда народ Зевая слушает молебен, Умильно на пучек зари Они роняли слезы три".

Со школьной скамьи мы, как дважды два — четыре, уложили в свою память конец "простого и доброго барина": "Смиренный грешник, Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир Под камнем сим вкушает мир".

По всей, так сказать, музыке этой эпитафии бригадир выглядит несколько убедительнее, чем Господний раб. Он был, конечно, добрый барин, — из той породы людей, которые склонны к доброте по вялости своей натуры; это меньше заставляет их о чем либо беспокоиться, расстраивать свое здоровье... Когда супруга его "служанок била осердясь", — он не мешал.

Кое-что, рассматривая в микроскоп, находим и у няни. Она говорит Татьяне: "дай окроплю святой водою". Да еще, рассказывая про себя, упоминает, — "мне с плачем косу расплели, да в церковь с пеньем повели". Эта няня, милейшее существо, которое нельзя не любить и которое имело необыкновенно долгую жизнь, вплоть до теперешней эмиграции (я, лично, видел одну такую няню), — эти няни, в отношении текущей жизни, всегда выглядели, как люди, заблудившиеся во времени. Кроме того пушкинская няня, как и все другие няни, была большим знатоком по части действий, направленных, так сказать, в обход церкви, — по части разных банников, хохликов, домовых... — "Татьяна, по совету няни... Тихонько приказала в бане на два прибора стол накрыть".

Сама Татьяна "Верила преданьям простонародной старины и снам и карточным гаданьям и предсказаниям луны".

Опять-таки перед нами не церковь, а, точнее говоря, — антицерковь. Следует здесь сделать маленькую оговорку, что старинная, русская гадательно-заклинательная стихия почти всегда предполагала за собой и обратное, т. е. религиозное начало. Тот, кто не верил в Бога, не верил и в чертей. Религиозное начало у Татьяны, конечно, есть и притом в самом суровом качестве. Впоследствии она скажет: "но я другому отдана. Я буду век ему верна". Но религиозность Татьяны, в чисто

церковном облике, Пушкин все-таки не нашел нужным нам показать.

Нужно еще упомянуть, что когда Ленскому "чрез две недели назначен был счастливый срок и тайны брачные постели" стерегли его, то и тут, все к этому относящееся — помолвка или благословение — преподано нам поэтом без каких-либо указаний на церковь. Так выглядит у Пушкина дворянская усадьба, которая тогда была клеточкой, определяющей нервную ткань России.

***

Про эту кондовую Россию мы много слышали и от прекраснодушных славянофилов и от свирепых консерваторов, что весь ее быт, сверху до низу, был пропитан церковностью. И вдруг Пушкин мало что видит из этого, а если что и видит, то вряд ли к большому удовольствию апологетов церковности!... Кто прав?

Чтобы подойти к ответу на этот вопрос, нужно прежде всего оговорить, что Пушкин был певцом, именно, усадьбы. В избу, в точном значении этого слова, он не заглядывал. Народ выступает у него только, как общий фон. Все крестьянские типы с классическим Савельичем во главе, взяты не в их чистом качестве, а как дворовая челядь. Архип из "Дубровского" вовсе не кузнец, а помощник своего барина-разбойника. Настя — наперстница своей барышни-крестьянки и т. д..

Вероятно истину надо поделить между апологетами и Пушкиным в таком сечении: первые, то-есть славянофилы и консерваторы, — за вычетом их приподнятой впечатлительности и скверной политической игры (у свирепых!), — преимущественно правы, если их оценки отнести к простому народу. А Пушкин, как певец усадьбы, преимущественно прав, когда не видит в ней настоящей церковности. Говорим в том и другом случае "преимущественно", потому что в чистом виде формула не получается. Нельзя ведь сказать, что могущества Церкви в народных массах Пушкин совсем не замечает. В том же Дубровском есть описание похорон

отца героя: "церковь полна была кистеневскими крестьянами. Бабы громко выли, мужики изредка утирали слезы кулаком". Описывая Пугачева, Пушкин не забывает упомянуть о том факте, что Емелька, первым делом, всех попадавших к нему в лапы, приводил к церковной присяге. Емельке попы были очень нужны. Он отлично понимал их влияние в низах. В этом пункте он был несколько умнее вольтерианизированного кавалера из усадьбы, бегавшего за попом с рогатиной.

В этом медвежьи-вольтерианском качестве усадьба вынырнула из 18-го столетия. На бал к Лариным съехались: "толстый Пустяков, Гвоздин хозяин п р е в о с х о д н ы й, владелец н и щ и х мужиков (курсив мой .Н. Б.). —Уездный франтик Петушков... и отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут". Потом дефилирует Зарецкий: "некогда буян, картежной шайки атаман, глава повес, трибун трактирный"... "В дуэлях классик и педант, любил методу он из чувства, и человека растянуть он позволял не как-нибудь, но в строгих правилах искусства".

Этот глагол "растянуть" подобран Пушкиным совершенно гениально. Можно, с некоторым недоумением, отметить только то, что сам поэт, за свою недолгую жизнь, вызывал разных лиц, в том числе и собственного дядюшку (по списку номер первый), — 18 раз на дуэль: —растянуть!...

Сам праздник у Лариных дан исключительно рельефно: "Но целью взоров и суждений в то время жирный был пирог... толпа в столовую валит... желудок — верный наш брегет... Освободясь от пробки влажной, бутылка хлопнула". Потом — "мазурки гром... тряслися, дребезжали рамы... припрыжки, каблуки, усы".

И мазурка, и пирог, с соответствующей рюмкой, — вещи отнюдь не плохие. Я далек от пуританизма. Но в том-то и дело, что дребезжали не только рамы, но и фундамент усадьбы. Про именинный пирог Пушкин отмечает, что он был пересоленый. История тут приходит немножко на помощь Пушкину: за это, в самой

гуманной усадьбе полагалась грандиозная, так сказать, соборная порка. Впрочем, ведь и сам поэт в разрез с историей не идет: выше уже приводились его слова, что старшая Ларина, хозяйка дома, осердясь, лупила свою челядь.

Законно предположить и другое: эта прислуживающая челядь с изумлением внимала, как мосье Трике, на непонятном языке, разворачивается со своими поздравительными куплетами, замещая собой, так сказать, батюшку, которого в числе гостей, также как и на пиру у Троекурова, роковым образом, не находим. Конечно, дворня потом докладывала свои впечатления избе и тут создавалось то, из чего выростали Пугачевы. Вряд ли все примут за безусловную истину утверждения наших "традиционалистов", которые не вполне вымерли и по сей день ,что порка только улучшала характер и вызывала в поротом расцвет нежных чувств к порющему.

***

Очень плохо, когда в жизни какого-нибудь народа реформы носят характер спохватывания. Спохватывания в последний момент. История нашей грешной планеты знает множество случаев, когда такому последнему спохватыванию приходится предаваться уже лежа на дне пропасти и с переломленным позвоночником.

Усадьба 19-го века, после-пушкинская, не являла, конечно, одни только "припрыжки, каблуки, усы"... Ведь из нее вышли и деятели реформ Императора Александра II, и Столыпин, и почти все русские классики. Гнезда истинной церковности тоже не подлежат в ней сомнению, — достаточно вспомнить хотя бы тех же славянофилов. Лесков показал нам "Соборян", каких мы совсем не прочь были бы найти и в настоящее время. Но все эти культурно-действенные и духовно-здоровые элементы не смогли вернуть фундаменту искомую прочность, не смогли пересилить победоносцевских галлюцинаций. Духовные наркоманы, вплоть до последних дней, были мерилом политической бла-

гонадежности и поднимались до уровня официальных идеологов Империи. Вокруг них, естественным порядком, копошилась рать несдавшихся троекуровых и вечных фляновых. Бесы правые старательно расчищали дорогу бесам левым. Иначе 1917 год не произошел бы.

Чтобы найти уже не творческий, а личный угол зрения Пушкина, заглянем в его "Дневник". Там за три года (1833—35), о разных церковных обстоятельствах, упомянуто три раза. Во-первых, Пушкин, как камер-юнкер, был вызван к графу Литта для разноса за то, что не явился в придворную церковь, ни к вечерне в субботу, ни к обедне в Вербное Воскресенье. Во-вторых, Пушкин рассказывает о совершеннолетии и принесении присяги Вел. Князем Александром Николаевичем, будущим Царем-Освободителем. Было очень торжественно и прочувствованно. Пушкин это отмечает, но заодно прибавляет: "Многие плакали, а кто не плакал, тот отирал сухие глаза, силясь выжать несколько слез". Дальше рассказ об этом торжестве сдобрен еще следующими строчками: митрополит Филарет "выбрал для церемонии главу из Книги Царств, где, между прочим, сказано, что Царь собрал и тысячников, и сотских, и евнухов своих... В городе стали говорить, что во время службы будут молитвы за евнухов... Принуждены были слово евнух заменить другим." Третий раз внимание Пушкина привлекают несусветимые церковные дрязги: "Филарет сделал донос на Павского, будто он — лютеранин. Павский отставлен от Великого Князя... Митрополит, на место Павского, предлагал попа Кочетова, плута и сплетника".

Записи эти в "Дневнике", и по количеству и по качеству, сами говорят за себя. Провести четкую грань, что приходится в этом равнодушии на его личный счет и что на счет эпохи — невозможно. Можно суммарно сказать следующее: когда человек к чему-либо прохладен, то он мало склонен замечать объект, прохладно воспринимаемый. Но в этом личном у Пуш-

кина есть и беспощадный реализм: усадьба и столица никак не настраивала его на соответствующие восторги. Прав Пушкин и в той части своего творчества, когда не хочет много говорить о троекуровской церковности, — церковности, без малейшего налета христианства.

***

Но дальше надо взять совсем другие тона.

К таинствам, совершенным Церковью, совершенным хотя бы "попом толоконным лбом", у Пушкина был другой подход. Отповедь Татьяны Онегину, уже в качестве княгини Греминой, теряет, конечно, всякий смысл, если в основу ее не положить таинства брака. В "Дубровском" эта мысль проведена Пушкиным с полной ясностью. —"Вы свободны!"— говорит Дубровский Маше, настигая карету новобрачных, по дороге домой из церкви, где только что было совершено бракосочетание. Брак, таким образом, в свои житейские и физические права не успел даже вступить. —"Нет!"— отвечает Маша предмету своей любви. —"Я обвенчана, я жена князя Верейского". Описывая это, только что бывшее бракосочетание, Пушкин вводит такую фразу, — и вводит, как это бывает при всяком описании, от своего имени: "священник, не дождавшись ее ответа произнес НЕВОЗВРАТИМЫЕ СЛОВА (курсив мой. Н. Б.)".

Не менее ясно отношение к браку и в "Метели". Бурмин, из озорства при любезном содействии русской пурги, спутавшей все карты, повенчался с девушкой, которую впервые случайно увидел. Позже, вернувшись из походов против "канальи Буонопарте", встречается со своей "женой", но ни он, ни она, друг друга не узнают. Вспыхивает взаимная любовь. Происходит неизбежное признание. Должен "положить между нами непреодолимую преграду", — говорит Бурмин. —"Я женат!" — "Я никогда не могла бы быть вашей женой", — в свою очередь говорит Марья Гавриловна, не догадываясь еще, кто именно делает ей признание.

Тут вся проблематика поставлена с полной определенностью. Никаких юридических и формально-канонических следов брака для Бурмина не существовало. Ничтожное значение они имели и для Марьи Гавриловны. Но были эти "невозвратимые слова", то-есть таинство брака, которое все и решало.

Признавая брак, Пушкин, тем самым, признает и таинство священства. Ведь кем же, в конце концов, совершается таинство, как не тем, кто сам наделен таинством их совершать. Наука, именуемая логикой, вероятно, не почувствует себя уязвленной, если из всего этого вывести, что в таинствах Пушкин видел непреложное, свыше данное, веление.

Но логические умозаключения тут мало и нужны.

В биографии самого поэта мы находим бесспорные указания на то, что он и исповедывался и причащался. После своей смертельной раны, он сразу соглашается на предложение доктора позвать ему того, кто призван врачевать уже не тело, а душу: "Возьмите первого ближайшего священника".

Опять-таки из жизни Пушкина известно, что он служил заупокойные литургии по Байроне, Петре Великом и казненных декабристах, — служил не на показ, в виде какой-то демонстрации, а почти секретные, только по внутренним побуждениям.

Митрополит Анастасий, ныне здравствующий Первоиерарх Русской Православной Церкви за рубежом и автор замечательного труда о Пушкине, говорит так: "Если о нем нельзя сказать, что он жил в Церкви... то во всяком случае он свято исполнял все, что предписывал русскому человеку наш старый, благочестивый домашний и общественный быт".

В тех случаях ,когда Пушкин чувствовал в народе искренний религиозный порыв, он сам ему поддавался. Так бывало неоднократно в Святогорском монастыре, где, около своего Михайловского, поэт с увлечением принимал участие в молебствиях и крестных ходах. Что касается влияния на Пушкина той среды, которая

выше фигурально названа мной "усадьбой и столицей", то авторитетнейший Митрополит Анастасий отзывается о ней тоже без восторга: "Он не мог почти ничего получить для прояснения и укрепления своих религиозных взглядов... из преданий своей семьи, никогда не отличавшейся глубокой религиозностью. Еще менее могла дать ему религиозного содержания окружавшая его лицейская и светская среда, потому что сама лишена была последнего" (стр. 14).

Дальше встает большая тема о религиозности Пушкина.

II. РЕЛИГИОЗНОСТЬ ПУШКИНА

Картина Репина-Айвазовского "Прощай свободная стихия" поистине замечательна. Она, по-моему, является наилучшим введением в творчество Пушкина. Вдохновенный взор поэта врезывается в "волны голубые", как-бы требуя от них каких-то ответов. Ветер рвет плащ на его плечах. — "Шуми, взволнуйся непогодой... Перенесу... в леса, в пустыни... и блеск, и тень и говор волн", — прощается со свободной стихией поэт.

Этот ветер, взвивающий плащ и взвивающий думы, — от тогдашней романтики. Она сама по себе, как напряженность духа, как взлет к красоте, чрезвычайно привлекательна. Без романтики поэзия невозможна, — это почти синонимы.

Само стихотворение обращено к Наполеону и Байрону. — "Мир опустел", — со скорбью говорит Пушкин, по случаю их ухода в царство теней. — И слава Богу, что опустел! — могли-бы мы, сейчас, с нашим гигантским опытом, ответить Пушкину. Наполеон, с точки зрения духовных ценностей, явление совершенно бессмысленное, идиотическое. Что касается Байрона, то по всем второстепенным признакам, он может сойти за "властителя дум". Алексей Веселовский, историк литературы, весьма незаурядный и знаток байронизма, так определяет это течение:

"Разрыв со всем строем нравственных, социальных, политических основ старого порядка... страст-

ный призыв вперед... проповедь свободы и борьба за нее".

Все это, повторяем, было-бы хорошо, даже прекрасно, если-бы не было этого "разрыва с основами", — если-бы была только борьба за снятие шелухи с основ, — шелухи, которой эти основы густо покрылись. Что такое, в сущности, эти основы? На это можно ответить точно: это непреложные законы бытия, которые управляли и управляют миром. Перед весом скрижалей Моисея, все прозрения, как самого Байрона, так и его бесчисленных последователей, оказываются только легким пухом.

Без понятия Бога-Творца нет никакого разумения мира сего и без соблюдения Его законов нет жизни вообще. На вопрос почему эти законы даны, никакого ответа найти нельзя, кроме того, что Создателю так было угодно. Логическое обоснование этих законов возможно только от обратного:

1) Человечество, построенное без императива Любви, т. е. на утверждении своего я, обязательно рассыпается прахом. В таком обществе, направляемом только целесообразным разумом, произошла-бы короткая схватка всех против всех, где, в конечном счете, все и погибли-бы. Даже самое понятие родителей невозможно с точки зрения рационализма. Рождение детей и воспитание их всегда нецелесообразно для родителей, всегда подчинено чему-то другому, чем собственным интересам. Без этого "чего-то другого", род человеческий просто прекратил-бы свое существование: детей либо убивали бы при рождении, либо не допускали до их появления на свет. В том-то и дело, что человек определяется не только тем, что он высасывает на свою потребу из окружающей среды, но и тем, что он отдает себя Миру.

2) Без императива Истины, т. е. самодовлеющего, вне человеческой воли стоящего побудителя к осмы-

сливанию мира видимого и невидимого, — нет ни культуры, ни государственности; — нет ничего. Без него человечество не вышло-бы из пещерного состояния. Ни Коперник, ни Микель Анжело, ни Пушкин никакой целесообразностью и материалистической диалектикой не объяснимы. Объяснять материалистически можно только производственные законы: изобретение электрической лампочки или нового способа замораживания свиных туш . . .

В человеческом творчестве заложена и своя страшная опасность: взятое само по себе, в отрыве от императива Любви и в слепоте к Богу-Отцу, оно соскальзывает на демонизм. Изобретение кремневого топора или открытие атомной энергии может пойти, как на общее благо, так и на всеобщую моральную анархию.

Байронизм дал религию самодовлеющей красоты и свободы. Но одна эстетика, без этики, — это нечто "без руля и без ветрил". Иначе пришлось-бы и Пикассо, и Бернарда Шоу и всех порнографов, подчас весьма талантливых, зачислить в ранг пророков. Культ свободы прекрасен тоже ровно постолько, поскольку он служит основам, а не отрывается от них. В отрыве от этих основ свобода рождает свою собственную противоположность, — свиные морды, выглядывающие из-за стен московского Кремля . . . О таком историческом увенчании своего романтизма Байрон, конечно, не подозревал.

Пушкин, хотя и считал себя байронистом, но по собственной величине не укладывался в это течение. Сам он имеет гораздо больше прав на титул властителя дум, чем те, кого он так величал. Любопытнее всего то, что сам Пушкин, снимая, так сказать, шляпу перед Байроном, роняет следующие строчки: "Лорд Байрон прихотью удачной облек в унылый романтизм и безнадежный эгоизм". И лучше сказать невозможно. Причем тут только "властитель дум", — остается

некоторой загадкой. *) У Пушкина есть такие загадки, — хотя-бы те же дуэли.

Байрон давно ушел в прошлое. Споры о Пушкине гремят и по настоящее время. Он еще — не вполне открыт. Может быть, он даже вообще больше принадлежит будущему времени, чем прошлому.

**
*

К столетию со дня смерти поэта, т. е. в 1937 году, в Париже, который был тогда столицей русской эмиграции, вышли сразу три книжки о Пушкине. Имена авторов этих исследований говорят сами за себя: Струве, Милюков и Бурцев. Каждый из них поставил своей целью выяснить политические взгляды Пушкина и здесь оказалось: что Пушкин, по Струве, является

---

*) "Прощай свободная стихия" написана в Одессе, в середине 1824-го года. 3-ья глава "Ев. Он.", где находится строфа о Байроне, написана в Михайловском, в конце того-же 24-го года. То-есть: и почтительное восхищение перед Байроном, и отсутствие всякого восхищения, совершенно совпадают во времени. Догадки тут можно строить какие угодно. Вероятно, одной из законных догадок будет то соображение, что свой стихийный, поэтический порыв, Пушкин, потом, поправлял холодным анализом. Байрона, по всем второстепенным признакам, он привык считать главой романтизма и на его смерть у Пушкина вырвалась эта, так сказать, эпитафия. В эпитафиях вообще говорят только похвальное. Но, в другой момент, хотя-бы по времени вплотную соседский, поэт находит уже точные слова. И, находя их, невольно определяет и самого себя, как величину, во всех отношениях, парящую над "властителем дум."

либеральным консерватором; по Милюкову, — только либералом, едва-ли не предтечей его парижско-милюковского РДО (республикано-демократического объединения); по Бурцеву поэт получался чистокровным революционером-декабристом. Серьезнее других был Струве: правее, то-есть в костлявые объятия Победоносцева, поместить Пушкина невозможно. Но нельзя отрицать, что, выхватив из его творчества или биографии, те или иные места, поэта можно преподнести и по-бурцевски и даже по-милюковски (у последнего, правда, феноменальная ловкость рук создавала неловкость общей трактовки).

Струве, конечно, прав: "царь, народ и свобода". Но не принадлежат-ли эти восчувствия Пушкина больше будущему времени, чем прошлому? Может быть вся будущая политическая жизнь нашей Родины назовет Пушкина своим первым провозвестником?

Еще любопытнее был тогда-же поставлен вопрос у мэтров высоко-выспренних: в кружке Мережковского, Гиппиус, Г. В. Адамовича, — "кавалеров Зеленой Лампы", — как они себя называли. Недоумение, вернее огорчение, сводилось к следующему: что ж, мол, это такое?... Гений — безусловно. Корифей — тоже. Но нет идей! Нет разработанной философской системы!... Скачет от предмета к предмету и щебечет, как птичка. Сплошь и рядом берется за темы такие, которые явно предосудительны для сознательного интеллигента: за какие-то сказки!...

Выспренние, по-своему, правы: если отожествить понятие "идей" с наяриванием всевозможных схем и систем, то Пушкину, любой приват-доцент поставит неудовлетворительную отметку. Также, разумеется, как и Пушкин, пожал-бы только плечами по адресу тех, кто Вселенную загоняет под абажур своей лампы.

С выспренним состоянием ума, невозможно понять это пушкинское предельно простое: "и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал". В этом поэт видит свою миссию, свой "нерукотворный памятник". — "Велению Божию, о

лира, будь послушна“, — продолжает он в этом своем автобиографическом и почти предсмертном стихотворении (1836). И раз сам поэт полон богоустремленности, то и музу его осеняет богоизбранность. Одно вызывает другое: это — закон.

Уже на десять лет раньше (1826) слышим этот благостный гром. ”Восстань пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей . . . “ Этот ”Пророк“, для всей поэзии, литературы, для всякого вообще печатного и изустного слова, является тем-же, что и Заповеди Моисея. Является, как-бы одиннадцатой заповедью, предусматривающей обязанности человека одаренного, который своим словом может прожигать других. Может и должен.

Стихотворение это совершенно особенное. В нем, самым причудливым образом,сплетены в одно целое,как покаяние (”и вырвал грешный мой язык“), так и причащение (”перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он“), так и преображение (”и угль, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул“). Затем следует сошествие Святого Духа: глас Божий взывает: ”и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей!“

Кстати, вокруг ”Пророка“, в тот-же юбилейный год, и в том-же Париже, завязалась борьба. Русские масоны напоминали, что Пушкин, некоторое время масоном был и, что в этом стихотворении выразил их, масонскую, идеологию. Ничего не могу сказать по этому поводу, потому что никогда и нигде не встретил ясной формулировки масонских идей. Могу только, со всей ясностью, показать непреложную христианскую сущность этого стихотворения. Отмечаю этот эпизод для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что борьба вокруг Пушкина не закончена; — думы он притягивает к себе и по-сейчас.

Шестикрылого серафима Пушкин видит иногда в старце, — таинственном госте из другого мира: ”с длинной белой бородой — и меня благословлял“ (”Родриг“). ”Но твоя да будет воля, не моя“, — го-

ворит грешный, потерявший корону король, но пробуждающийся к жизни новой.

Находим старца и в этом мире: "исполнил долг, завещанный от Бога мне грешному". Пимен, это одно из жизненных воплощений "Пророка". Смертному дан приказ вести историческую запись и он кладет на это свою жизнь, — "еще одно последнее сказание и летопись окончена моя". Чувство истории живейшим образом, было присуще и Пушкину. Про это чувство истории, можно сказать, что каждому духовно здоровому человеку оно обязательно должно быть присуще. В нем — неразрывная связь с человечеством и соединение с Богом, перед лицом Которого человечество совершает свой путь. Без чувства истории наступает некоторое бычье состояние, по сути своей вполне ирреальное, хотя в нем как-будто и блещет самоупоенная, видимая и осязаемая материя: двигать челюстями положенное число лет, прожевывая пищу и — сгинуть без следа. Человечество реально только в своей связи с прошлым и будущим. Тогда оно обретает бессмертие, то-есть, высшую реальность. — "Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу". Кто не ведает и кто всеми глубинами своего естества не тянется к связи с "минувшей судьбой", тот обращается в бессмыслицу, в прах...

Пушкин показывает нам Пимена в монастырской келье. — "С той поры лишь ведаю блаженство, как в монастырь Господь меня привел", — вразумляет он Гришку, которому в келье душно, которым управляет буйная кровь. В Пимене дано идеальное равновесие между личным призванием и церковной религиозностью. Но есть все основания поместить Пимена в главу о религиозности Пушкина, а не в главу о его церковности. В том то и дело, что Пушкин взял такой тип, который для круга обычной, текущей церковности составляет не правило, а исключение. Каждая религия строится на явлениях исключительных: на пророках, святых, мучениках... Но трагизм церковности в том

и состоит, что, в каждый данный момент, жизнь Церкви обслуживают не они, а люди обыкновенные, со всеми недостатками обыкновенных людей. На этом и создается раздвоение между религией и Церковью.

Пимены рождались не каждое десятилетие. В эпоху Пушкина Пимены уже переродились в историков-философов типа Новикова, Болтина, Чулкова, кн. Щербатова ... *) Последний, кстати, считал, что духовенство надо привлечь к чисто полицейским обязанностям. Пушкин прав был, находя Пимена в отдаленном прошлом. Сознание божественности своей миссии унаследовал от Пимена сам Пушкин, но в монастырскую келью не пошел.

Что касается других типов, составляющих обычную, повседневную церковность, то в том-же "Борисе Годунове" дан Злой Чернец, как его рекомендует сам поэт и, затем, разговор патриарха с игуменом. Разговор, так сказать, чисто административный и в том духе, который привел бы в восторг князя Щербатова. Патриарх (про Гришку): "сослать в Соловецкий на вечное покаяние. Ведь это ересь, отец игумен?" — Игумен: "Ересь, святый владыко, сущая ересь". Затем в драме встречаем Мисаила и Варлаама, — "бродяги в виде чернецов", — как опять таки рекомендует их сам автор.

---

*) Примечание. Князь М, М. Щербатов, философ консервативный, в своем "Путешествии в землю Офирскую", доходит до мыслей вполне пронзительных. Он, давая контуры идеального государства Офирии, пишет: "понеже, что полиция у них есть для сохранения нравов, то из граждан выбираются те, которых они достойнейшими и добродетельнейшими почитают, в главные надзиратели частей по 3 человека, которые тогда уже определяются быть священниками единого Бога".

Просматривая полное собрание сочинений Пушкина, можно найти много эпиграмм, посвящений, миниатюр, набросков, которые неизменно свидетельствуют ,что перед нами Пушкин во всем своем блеске, но больших мыслей не вызывают. Существует еще, так называемый, неизданный Пушкин, то-есть, попросту, порнография, при том весьма дикая. В ряд отнюдь непророческих произведений надо отнести, конечно, и Балду. Собственная биография поэта тоже далека от святости. В "Родриге" есть строчки, которые с полным правом следует отнести к самому поэту: "хочет он молиться Богу и не может: бес ему шепчет в уши звуки битв, или страстные слова". Но когда человек понимает, что "бес ему шепчет в уши", то — "Господь руке твоей даст победу над врагом, а душе твоей покой" (тоже из "Родрига"). Тот "гений чистой красоты", который он прозрел в Анне Керн (как прозревал и в других) вел его к тому, что нужно и важно.

Что такое в сущности христианство? Христианство есть жизнь и жизнь есть христианство. Без того или иного прикосновения к Святой Троице наступает безвоздушное пространство с температурой абсолютного нуля, где всякая материя обращается в ничто.

Коснемся еще одного обстоятельства. Всемудрейшие русские парижане, тогда-же, в юбилейный год, поставили в вину Пушкину, что у него "был излишне развит вкус к баталиям". Тут, само собой разумеется, в мудрость всемудрейших включен и пацифизм. Пацифизм, то-есть мирное житие народов, состояние вполне искомое. Если-бы о нем доложил Суворов, Скобелев или любой другой боевой генерал, исходя из того, что глаза его видели, то я-бы отнесся к этому с величайшим вниманием. Но когда отрицание войны исходит от профессиональных дезертиров, то это мало убеждает.

В вину Пушкину поставлена была, конечно, "Полтава". Кроме нее есть еще бой Руслана с печенегами; бой очень ярко представленный, но бой фантастиче-

ский. Правда, постолько, посколько вопрос ставится в плоскость вкуса к баталиям, безразлично была ли битва или ее никогда не было. Сюда-же можно зачислить и кое-что из "Песней западных славян" и еще кое-что. Но, в общем, у Пушкина баталий много меньше, чем у Лермонтова, которого за это наши пацифисты особенно посрамляли.

В чем тут, собственно, дело? По моему, тему эту все-таки можно обсуждать серьезно.

Когда наши отцы, деды шли на войну, им говорилось: защищай отчизну свою по крайнему разумению. Пожертвуй собой за веру, за царя. Врага одолей! Но никто никогда не говорил, что надо предаваться убийствам. Если враг ранен — перевяжи ему раны. Если враг сдался в плен, то ни в коем случае не убивай его; — в плен возьми и не посрамляй, не обижай... После войны отпусти на родину. Сколько таких пленных, вообще, не вернулось на свои родины и целиком вошли в русскую жизнь

Финал Полтавы очень характерен. Сразу, по окончании боя, Петр: "славных пленников ласкает и за учителей своих заздравный кубок поднимает".

Самого Петра Пушкин изобразил в тонах не только героических, но даже эпических, — почти, как Руслана. Исторический портрет, несомненно, выглядит как-то иначе. Но есть и своя глубокая правда в том, что поэт вводит Русского Царя, возложившего на себя императорскую корону, в эпос. Истошная жажда крови никаких полей битв не определяла, — ни Бородинского, ни Полтавского, ни Куликовского. Я не собираюсь препарировать Русскую Историю под вербного херувимчика. Русские сабли, по железным, неотвратимым законам жизни великой нации, не только защищали свои рубежи, но и добывали рубежи новые. Славянские племена или вернее даже — роды, разбросанные по дремучим лесам, создали величайшую империю. Конечно, можно насчитать случаи, когда русские сабельки, входя в резвость, сносили излишнее

число голов. Но это было не во исполнение догмата, а по бушеванию крови. Да!... Человек остается человеком и война есть война! Но одно дело, когда война окружена вехами милосердия и забвения вражды, как только пушки отгремят, и другое дело война, когда она пропитана маниакальным причитанием Константина Симонова: "Убей хоть одного".

Симонов, по всем внешним признакам, тоже поэт и поэт талантливый. Он тоже схватил эпос, но эпос кремлевских захребетников. Черные пророки, шмыгая по земному шару, дудят свою сдинственную заповедь: истребляйте друг друга! Знаменитое стихотворение Симонова брошено было, как приказ всем бойцам и вообще всем русским людям, во время 2-ой Мировой войны, — во время нашествия немцев, которые бесчинствовали, как бесчинствовали раньше татары и другие. Может быть, немцы даже больше бесчинствовали. Но что означает это — "убей хоть одного?"

Это, по самой элементарнейшей логике, означает, что не убить ни одного — очень плохо. За это можно получить какой-нибудь лагерь на Колыме, откуда обратных билетов домой никогда не выдается.

Убить только одного — сносно, удовлетворительно. Благонадежность как-бы доказуется. Припомним, что в книжку бойца Красной Армии вписывался факт убийства хоть одного врага. Но формула, раструбом своим обращена к безграничной множественности, к интегральной крови. Идеальный ее смысл — уничтожение всех, — женщин, стариков, детей, пленных, раненых... Симонов направляет свой каннибальский пафос против немцев. Но немцы элемент случайный, преходящий. Завтра советская власть будет воевать против американцев, англичан, фрацузов и вместо слова "немец" придется подставить — "все свободное человечество". Вообще Сталин никогда не разменивался на мелкую кровь. Отливая кликушество Симонова в административные нормы, он никогда не понимал под немцами только немцев. Это были "наемники международного капитала", "агенты", "фашисты" и прочее,

и прочее. Лексикон этот таков, что нет человека на земном шаре, который под действие этой словесности не подошел-бы. Уж, во всяком случае, Черчилль с Рузвельтом, норовя лобызнуть ручку "лучезарного", напрасно исключали себя из этих формул.

Вообще авторских прав за Симоновым нет никаких. Раньше были "золотопогонники" и все вообще определяемые, как "недорезанные". Потом были найдены новые словесные перлы: диверсанты, вредители, правоуклонщики и левозагибники. Перерезали сугубо своих... И все это вполне закономерно: никакого водораздела, по принципу целесообразности, между "убей" и "не убей" нет и быть не может. Почему, собственно, **мне** не прикончить человека, **мне** лично неугодного?!...

III. ПУШКИН И ВСЕЛЕНСКОСТЬ

Дальше, невольно, напрашивается еще одно сравнение Пушкина и на сей раз не с агентами смерти, а с высочайшим служителем истины и любви — преп. Серафимом Саровским. Его жизнь протекала в одно и тоже время с поэтом. В нашу эпоху его признали одним из лучших выразителей русского христианства, — Православия, — и причислили к лику святых. Сохранились показания, что во время молитвы, святой Серафим из Сарова отделялся от камня, на котором преклонял колена и поднимался в воздух.

Темой для великих размышлений может послужить тот факт, что оба великих современника никогда не встречались и не подозревали о существовании друг друга, хотя жили они вовсе не на разных концах России и хотя в народных толщах подвижник из Сарова не был неизвестной величиной и молва, уже при жизни его, приписывала ему святость. Тема эта становится совсем конфузной, когда, со всей явственностью выступает, что духовные точки пересечения были все налицо: суть православного исповедания, святой Серафим понимал, как вдохновенный взлет, как непосредственное становление себя перед Святым Духом. Но Пушкин тоже был рыцарь Святого Духа, был вдохновенным певцом Жизни, во всей ее полноте, видимой и невидимой.

Если вообразить себе встречу Пушкина с Саровским подвижником, то поэт не мог-бы не узнать в

нем своего Пимена. Притом Пимена в наивысшем качестве, — в ранге пророка. Со своей стороны не могбы не благословить его и святой Серафим. Разумеется, потребовал бы немедленного сожжения некоторых его произведений, потребовал бы выбросить в речку дуэльные пистолеты, чтобы они никому не достались. Вероятно старец, со свойственным ему смирением, поморщился бы от того, что поэт угадывает в будущем свои собственные памятники. Впрочем, это последнее, святой Серафим, вероятно и понял бы: понял бы, что тут речь идет не о мании величия, а просто о полнокровном сознании своей миссии.

Осудил-ли бы св. Серафим "Попа и Балду"? Это вопрос сложный и деликатный. Сам св. Серафим, как и все русские старцы, странники, юродивые, лесные отшельники, широко раздвинули ограду казенной церкви. На примере другого русского лесного святого, — Сергия Радонежского, — мы видим, что церковная ограда пробивалась к нему в лес, а не он к ней.

Может быть, прослушав "Попа", святой Серафим только горестно покачал бы головой и потом, в ночной тиши, вознес бы удвоенные молитвы о ниспослании пастырей достойных и о достойном, без сучка и задоринки, служении поэта высшим целям.

Культурная энергия Европы и России, охваченная поколением разума, решительно пошла против Церкви, которая знала вечные, неподвижные истины, знала, что без них человек жить не может, а потому всяких бурь сторонилась. Всякий консерватизм, будет-ли он церковным или политическим, всегда прав в своих основах. Эти основы не выдуманы под сенью какой-нибудь лампы, а отцежены из опыта веков, как наилучшее правило поведения, как житейские истины, которые направляются велением больших Истин.

Но эти же века приводят к такому скоплению пыли, к такому окостенению всех частей системы, включая сюда и содержимое черепной коробки самих носителей этих идей, что дух человеческий начинает ме-

таться в панике, ища выходов. Тогда жизнь попросту ломает данную систему. Правда негативная возводится при этом в правду позитивную.

Мировое значение Пушкина в том и состоит, что он, оставаясь непримиримым врагом всяческих окостенелостей, не теряет из виду Синайской горы. Верный сын "свободной стихии", с вдохновенным лицом слушающий "глухие звуки, бездны глас", он твердо стоит на прибрежном камне и не позволяет волнам смыть себя в бездну.

Пушкин остался почти неизвестен Европе. Полного и сколько-нибудь удовлетворительного перевода его сочинений нет ни на одном языке. Не будет даже преувеличением сказать, что заграницей он известен, главным образом, по музыкальным интерпретациям Чайковского, Бородина, Мусоргского.

Советская власть издала отдельные произведения Пушкина на разных языках: тюркском, узбекском, мордовском, казахском, ассирийском... Трудно сказать по каким соображениям большевики это сделали и как переводы выглядят. Мирового значения Пушкина они, во всяком случае, не увеличивают. Вообще, если бы большевистские головы точно представляли себе смысл Пушкина, то им надо было бы не переводить его, а уничтожить все им написанное и вытравить всякое воспоминание о нем. Потому что: либо Пушкин, либо их философия трупных червей.

Обвинять Европу в том, что она не заметила Пушкина, мы, русские, собственно, не можем. Ведь мы сами упорно обносили его пограничными столбами. Видели в нем "солнце русской поэзии" и только. Даже в тех случаях, когда, как Достоевский, приписывали ему роль посланца в Мир, то спешили этот Мир разделить на Запад, — духовно-несостоятельный, с потухшей искрой Божией и на Восток, то-есть Россию, единственно полноценную. Европе приписывалось индивидуалистически-материалистическое начало, а нам коллективно-духовное или, как оно торжественно иногда называлось, — соборно-литургическое.

Ошибка тут дается ровно на 180 градусов: тот русский, который на христианском основании хочет, во что бы то ни стало, оттолкнуться от Европы и доказать, что "с нами Бог, а там Его нет", — должен прежде всего индивидуализм присвоить России, а коллективизм Западу. Никакого становления перед Богом, кроме строго личного, нет и быть не может. И только потом, после осознания своей индивидуальной ответственности перед Творцом, начинается становление перед коллективом. Иначе приходится отвергать и таинство покаяния, и таинство причащения, да и все другие таинства тоже. Повелительный слог заповедей Моисея, как нельзя лучше соответствует их смыслу: Бог приказывает человеку: ты!

Вообще теории благочестивого Востока и духовно-мертвого Запада дышат такой абстрактностью и с такой решительностью устраняют из обихода географию и историю, что остается только удивляться, как это они, и по сей день, имеют известную циркуляцию. Где начинается и где кончается Европа? Куда, например, чисто географически, отнести Германию и Италию, понявших свою национальную миссию, как поход и против Запада и против Востока? Куда втиснуть Японию, которая не без серьезных оснований, заслужила кличку "Пруссии Дальнего Востока"? В чисто духовном отношении германское безумие было именно безумием, но уж никак не выше стоит и вся продукция русской революции. Чем, в сущности, Розенберг с Химмлером хуже патриарха Алексея и митрополита Николая Крутицкого, поставивших Русскую Церковь на службу профессиональным убийцам с Лубянки?

Идем дальше. В Англии, до последнего времени (не знаю, как сейчас, при социалистах), было так, что если кто искал там политической карьеры, то одной вещи он должен был избегать во всяком случае: это, — прослыть атеистом. Тогда он рисковал не получить ни одного голоса от избирателей. Тоже и в Соединенных Штатах: пусть попробует там кандидат в президенты объявить себя неверующим!... У нас было на-

оборот: если бы Милюков хоть раз сбегал в церковь, то политическая его карьера была бы кончена.

Куда поместить Испанию? В число духовно отмерших народов? Куда деть ирландцев, с их религиозным и всяческим фанатизмом? Что делать с финнами, которые по моральной стойкости являют пример совершенно необычайный? Финны, отнюдь не славяне и в русскую культуру не вошедшие, показали нам, как маленький народ готов погибнуть весь без остатка, но не сдаться силам Зла, угнездившимся в Белокаменной.

Поляки хоть и являются искомыми славянами, но они католики, то-есть принадлежат к той ветви христианства, которая у славянофилов и их продолжателей вызывала самые мрачные сомнения. Иногда и сейчас договариваются, что католицизм еще хуже, чем коммунизм. Но народные массы Польши, в защите своей Веры оказали большевикам самое упорное сопротивление. Как справиться с этим фактом?

Франция, действительно, состоит из скверной пропорции: 3/4 — за всякую чушь, унаследованную от "священных принципов 1789 года", и только 1/4 замкнулась в католицизм. Так вот, если тему о Западе и Востоке сузить до темы о влиянии Жан-Жака Руссо, Робеспьера, Марата и других на русские умы, то такая тема интерес представляет. В особенности, если к ней присоединить еще тему о разных немецких Киндерсистемах, взбадривавших русские души. Но тут сразу возникает вопрос: почему-же русское полноценное естество так легко откликнулось на всю эту чушь? Ведь никакими штыками она не насаждалась. И за этой темой следует другая: о растлевающем влиянии русской революции *) на весь остальной мир. Что по этому поводу скажут "восточники" ?...

Посмотрим, как эти вопросы решал Пушкин. Внимание его не раз останавливалось на других народах.

---

*) Февральская революция и Октябрьская являются русскими продуктами и только русскими. Никаким другим народностям или потусторонним си-

Заглянул он и в цыганский табор. Этот кочевой народец принадлежит к числу редчайших феноменов земного шара: он, за свою долгую, историческую жизнь, не создал никаких религиозных представлений. Кроме цыган, в такие безрелигиозные феномены, этнография зачисляет еще эскимосов. Все остальные обитатели нашей планеты, будь то папуасы, бушмены или индейцы с Амазонки, свое, то или иное, раскрытие Бога дают. Но озарены Богом, конечно, и те, кто никакого представления о Нем не имеет. Иначе физическая жизнь их была бы невозможна.

У этих цыган, к которым вводит нас Пушкин, брак основан на непосредственном чувстве, а не на долге, как у христианских народов. Одни чувства, конечно, ведут к анархии. Но этой темы лучше не касаться. Заметим, в общем виде, что брак построенный только на чувствах может приобрести все черты таинства и наоборот: брак, заключенный по всем мистическим и гражданским догмам, сплошь и рядом ничего, кроме абсурда в себе не содержит.

Но в "Цыганах" определительной фигурой является не Земфира, а ее отец. Это, в своем роде, настоящий цыганский Пимен. Когда Алеко, пришелец в табор из цивилизованного мира, изумляется, как это так старик в свое время не отомстил изменившей ему жене, то натыкается на такой ответ: "К чему? Вольнее птицы младость. Кто в силах удержать любовь?"

После двойного убийства, совершенного Алеко, в том числе убийства дочери старика, он находит в себе силы сказать: "Оставь нас гордый человек... Да будет мир с тобой... Ты зол и смел, — оставь же нас". Думается, что нет на земном шаре такой великой нации и такой христианской культуры, которые, с почетом, не ввели бы этого старика в свои ряды.

лам вины за все это не подкинуть. Обращаем внимание на замечательные статьи И. Солоневича "Великая фальшивка Февраля".

Из степей Пушкин переносится в горы. Находит там дикую черкешенку. Пушкин говорит нам, что эта дева гор как и вообще все девы земного шара, бестрепетно идет на самоотречение, на самозаклание во имя своей любви. — "И при луне, в водах плеснувших, струистый исчезает круг"; — исчезает в нем наша черкешенка, чтобы дать возможность тому, кого она полюбила, вернуться к своей некавказской любви, — чтобы он дошел до той заветной полоски, где "в туманах сверкали русские штыки, и окликались на курганах сторожевые казаки".

Идем дальше. Грозный хан из Бахчисарая являет нам душу менее замороженную, чем, скажем, Троекуров. Этот хан, переживший несчастную любовь, — "часто в сечах роковых, подъемлет саблю и с размаха недвижим остается вдруг, глядит с безумием вокруг, бледнеет будто полный страха и что-то шепчет, и порой горючи слезы льет рекой".

Троекуров ни на какие слезы неспособен. Опять таки перед нами тот-же вопрос: в какой пропорции "синтезировать" этого татарского хана с "зиждителем церкви" Кирилой Петровичем? Кого в чью веру обращать?

— "Мне кажется я весь переродился! Вас полюбя, люблю я добродетель", — говорит испанский гранд, Дон-Жуан.

Встречаем у Пушкина и тот туманный остров, который вошел в русское сознание, как символ коварства и всяких пакостей. — "Я заклинаю вас кровью Спасителя, распятого за нас. Прервите пир", — говорит священник. И слова служителя Божьего достигают ушей председателя этого пира во время чумы. — "Я здесь удержан отчаяньем, воспоминаньем страшным, сознаньем беззакония моего и ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречаю". Следует-ли этого священника и этого председателя отнести к миру безнадежно материалистическому, который без оплодотворения его Востоком неспособен явить свой человеческий дух ?...

Решается все это только одним: нет народа не богоносца, — "несть ни элинна ни иудея". Пушкин, текстуально, так и говорит: "Христос Воскрес, моя Ревекка! Сегодня следуя душей закону Бога - человека, (курсив мой. Н. Б.), с тобой целуюсь". И дальше приписывает: "чем можно верного еврея от православных отличить".

Когда надо, Пушкин, как сын своей родины. умеет огрызнуться на тех иностранцев, которые, с моноклем в глазу, избрали своей профессией вытаскивание соринок из чужих глаз. — "Оставьте! — говорит им Пушкин. — Это старый спор славян между собой". Поэт умеет видеть перед собой "старый наш орел двуглавый", который "повелительные грани... Стамбулу... указал". С духовными кастратами, носящими звонкое имя космополитов, Пушкину делать нечего. Но нечего ему делать и с теми "истинно русскими людьми", которые под национальным величием понимают некую стройную серию зуботычин.

Связать действенный национализм с ощущением всего человечества, — задача безмерной трудности. Среднему человеку она совершенно не по силам. Но даже и в том сверх-классе, к которому принадлежит Пушкин, рядом с ним, из истории всех времен и народов, находим очень и очень немногих. Несомненно Шекспира. Несомненно Данте. Несомненно Сервантеса...

Разумеется, эта гармония могла создаться только потому, что в основе всей жизни, во всех ее проявлениях, поэту дано было видеть Богочеловека. Богочеловека, как неотделимую ипостась Святой Троицы. Тогда все, что он воспевал: и море, и сухие листья, и "на красных лапках гусь тяжелый" становятся не случайными, бессмысленными объектами зрения, а проявлениями одного целого, — Всемогущего Творца.

Про Серафима Саровского передавали, что он, во время молитвы, физически отрывался от земли. И других, своей личностью и молитвой, тянул ввысь. Пушкин от земли не отрывался. Наоборот. Грешную землю он так любил, что как-бы все больше вростал

в нее, стремился слиться с миром видимым. Но зато Небо он, всей мощью своего творчества, приближал к земле, помогал смотреть вверх и понимать себя в свете вечных истин и красоты.

Но самый факт разобщения культуры на святого Серафима и Пушкина остается трагическим. Центральная фигура нашего литературного возрождения оказалась несообщающейся с центральной фигурой религиозно-церковной жизни. Оба они дышали одним и тем же воздухом, оба совершили один и тот же подвиг, но все-таки дороги их не пересеклись.

Это не было бы еще страшно, если бы дальше, после своих земных путей, они встретились бы в истории России. Но, именно, дальше расстояние между ними превращается в противостояние. Уже в середине века мы застаем Достоевского за его мрачным перечнем хвостатых, которые по законам бытия, "рой за роем", хлынули в пустоту между расходящимися линиями духовной и светской культуры. Нужен был Пушкин № 2, Пушкин № 3, чтобы сжать эти линии воедино. Достоевский пророком не был. Он был ясновидящим бесоведом,

Титул этот совершенно особенный. Что он включает в себя гениальность, об этом не приходится напоминать. Но в смысле создания чего-либо прожигающего сердца, вводящего человека в Жизнь, Достоевский был совершенно беспомощен. Старцы его, это только схемы, некоторый контр-балланс, оттеняющий хвосты у хвостатых.

Третий вождь нашей литературы, в какой-то момент отрекся от собственного, бесподобного повествовательного творчества и занялся перекраиванием христианства. Само по себе, подобное занятие не страшно для христианских истин. На протяжении тех веков, которыми исчисляется наша эра, было несметное множество всяких перекраивающих, отрицающих, испепеляющих... Никто из них не смог убедить в своем превосходстве над Десятисловием и Символом Веры. Они исчезали, как дым. Сектантские хибарки

Толстого расползлись по всем швам, как только самого строителя не стало.

Для христианства, как вневременного целого, яснополянские упражнения Толстого незаметны. Для России они оказались все-таки слишком заметны: эти ножницы, образовавшиеся между Жизнью и разумом, Толстой раздвигал с маниакальным упорством. Сам он в мудрости не пребывал. Но это и не требовалось. "Рой за роем" требовал только похода на Государство Российское и на ее исконную Веру. Это Толстой давал в полной мере. И это делало его властителем дум. Героем нашей интеллигентской черни становился вообще всякий, кто так или иначе уязвлял Бога и рекомендовал себя самого вместо Него. — "Эй, небо, снимите шляпу, я иду!" — гаркнет Маяковский и эти слова надо признать за наиболее меткое определение эпохи.

XIX-ый век нашей культуры, начавшийся необыкновенным взлетом, заканчивается с некоторым астрономическим опозданием, в 1917 году. И дата эта принадлежит не только России, но и всему миру. В ней находит свое идейное исчерпание вся длительная, бурная и многообразная эпоха борьбы человека с Творцом Вселенной. Кто с Богом борется, — даже по неведению, что это Бог, — тот остается хромым, говорит нам Библия. Реализованный человекобог оказался только заплечных дел мастером.

Александр Блок, в своих сумбурно-гениальных видениях вопрошал: "Кто воссядет на темные троны? Каждый душу разбил пополам и поставил двойные законы". ...Блок вопрошал тут правильно: кто воссядет? Старые, вечные истины отступили куда-то в тень и как бы позволяют молекуле, именуемой человеком, совершить свою бесовскую пляску. Старые истины как бы ждут, чтобы молекула сама нашла свое равновесие.

Успеет-ли она найти это равновесие или человеческий разум доиграется до космической катастрофы, где никаких вообще молекул не останется; возникнет

ли, в этом случае, в какой-нибудь точке Млечного Пути новое человечество или Высшие Силы признают это ненужным, — вопросы, выходящие за пределы нашей темы.

Но, во всяком случае, новая эпоха, продолжающая жизнь нашего человечества, может начаться только с пушкинского пророка.

Imprenta, Dorrego 1102. T. E. 54-4644. B. As.